

Клейн как явление русской культуры: об одной неожиданной параллели

В Санкт-Петербургском государственном университете, в Петровском зале здания Двенадцати коллегий состоялись чтения, посвященные 90-летию со дня рождения Льва Самойловича Клейна. Большинство из выступавших на них археологов, антропологов, историков и других специалистов считают себя его учениками, которым он привил основы научного мышления, научил идти непроторенными дорогами, показал пример преодоления обстоятельств и стойкости в борьбе. Научные доклады начинались со слов признательности учителю. Представляем здесь выступление доктора исторических наук, профессора СПбГУ, главного научного сотрудника Музея антропологии и этнографии РАН Александра Григорьевича Козинцева.



А.Г.Козинцев

То, что я скажу, пожалуй, навлечет на меня упрек в парадоксализме – но я ведь ученик Льва Самойловича и эту черту воспринял у него. Дело в том, что, раздумывая над заявленной мною для юбилейных чтений темой «Клейн как человек и явление культуры», я понял, что не смогу с нею справиться, если прежде не проясню для себя связь Клейна с его собственной – русской – культурой. И вот тут-то, откуда ни возьмись, возникла странная и на первый взгляд неуместная параллель с Достоевским. Именно ее неуместность и заставила меня над ней задуматься. Я не собираюсь доказывать заведомо недоказуемое – что оба мыслителя сходны. Моя задача более скромна – показать, что за всей их полярной противоположностью можно усмотреть некоторые нетривиальные черты сходства.

Если на то пошло, параллель возникла не на гладком месте. Мне уже случалось сравнивать Клейна с Достоевским как включенных наблюдателей двух поперечных срезов российского уголовного мира с интервалом в 130 лет. Очень поучительно сопоставить эти две субкультуры – Мертвый Дом и тюремно-лагерную систему эпохи финального социализма. На эту тему мы с Львом Самойловичем спорили не раз, да так и не пришли к согласию (кстати ведь и страсть к спорам у меня – от него). Так вот, выясняется, что это не единственная точка соприкосновения между двумя мыслителями.

Во-первых, общность обнаруживается и в личности, и в судьбе, и в отношении к страданию в неволе. Сравните знаменитые



слова, обращенные Достоевским к другу и ученику Всеволоду Соловьеву: «Ведь я вам рассказывал – мне тогда судьба помогла, меня спасла каторга... совсем новым человеком сделался... О! это большое для меня было счастье: Сибирь и каторга! Говорят: ужас, озлобление, о законности какого-то озлобления говорят! ужаснейший вздор! Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя понял... Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются, да и то не так ясно. Ах, если бы вас на каторгу!» Последняя фраза рассмешила его собеседника, да и Федор Михайлович, почувствовав, что перегнул палку, улыбнулся.

Вопреки Ранкур-Лаферьеру, дело тут не в мазохизме, не в измышленной самим Достоевским неиссякаемой любви к страданию, якобы свойственной русским, а в присущей сильным натурам способности извлекать пользу из собственных бед, особенно когда они оказываются в прошлом. Последнее важно, ведь к оптимизму в данном случае предрасполагало и комически сниженное *déjà vu*: разговор происходил на гауптвахте, куда Достоевский много лет спустя угодил за нарушение цензурного устава.

Сравните у Клейна: «...Я действительно благодарен не только партии и правительству, но и их главной опоре – КГБ, потому что они ставили мне такие препятствия, которые сформировали меня как личность и преодоление которых дало мне возможность проверить себя и поверить в себя. Прибавило уверенности в своих силах... Вероятно, все это сказывалось понемножку, в сочетании, и превращало мою жизнь в бег с препятствиями. Но главное — это то, что я все время стремился их преодолевать. Препятствия того или иного рода есть везде и у всех, они громоздятся со всех сторон, но далеко не каждый стремится их преодолеть, даже если имеет силы для этого. Нужен еще и вкус к преодолению». И в другом месте: «Я, как кошка, падал всегда на четыре лапки. Умел обращать бедствие в добро, извлекать уроки и выгоду из поражений». Обратим внимание на то же мужество, тот же оптимизм и тот же юмор.

Такая параллель вызвала решительное несогласие О.П. Балановского, по мнению которого, высказывание Клейна прямо противоречит словам Достоевского. Но перечтем «Записки из Мертвого дома» – ничто в них не свидетельствует о мазохизме героя. Разве он радуется, когда его заковывают в кандалы? Нет – когда их снимают. Стойкость, умение обращать бедствие в добро – вовсе не то же самое, что тяга к страданию.



Л.С.Клейн

Во-вторых, еще важнее глубинная связь с культурой, к которой принадлежишь. Казалось бы, что еще может быть общего у яркого антизападника и охранителя Достоевского, недолюбливавшего евреев, с евреем и вечным оппозиционером Клейном, придерживающимся прозападных либеральных взглядов? Общность, на мой взгляд, очевидна – оба работали во благо русской культуры. «Как мне представляется, – говорит о себе Клейн, – я работаю в русской науке и культуре и, надеюсь, чем-то способствую ее развитию и международному признанию». Как он сам однажды выразился по другому поводу, «это, может быть, громко сказано, но тише тут не скажешь». Разница же в том, что если Достоевский немало способствовал закреплению в

западном сознании стереотипного образа русской ментальности, то Клейн, подобно другим западникам от Герцена до Набокова, этот стереотип разрушал.

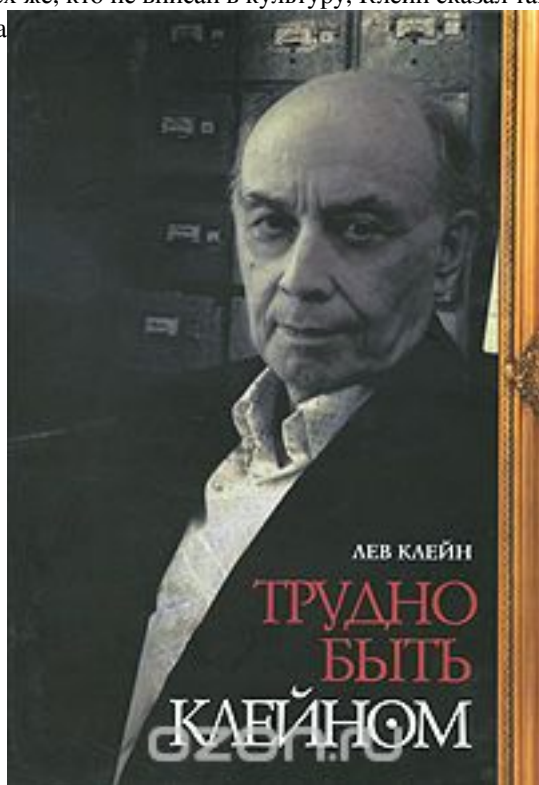
Да, Лев Самойлович со всем своим западничеством – специфически русское явление. Он мог бы уехать много раз и работать на Западе, а он остался. «Отречением для меня был бы отказ от русского языка, русской культуры, русской судьбы, – говорит он, – Мои культурные истоки здесь, а к биологическим истокам возвращаться что-то не хочется – так можно очень далеко зайти».

«Я избегаю затасканного слова “патриотизм”» – продолжает Клейн. Он предпочитает выражение «привязанность к родине», но, как ни называй, суть не меняется. Помню нашу краткую встречу в ИИМКе в начале постсоветской эпохи. «Вот именно сейчас надо жить здесь», – сказал он мне.

«Я был близок к тому, чтобы уехать, – пишет он, – когда вышел из тюрьмы и лагеря в 1982 году и меня никуда не брали на работу. Но не уехал. Не остался за границей и потом, когда не раз выезжал преподавать в университетах Европы и США..... Когда я обдумывал, не покинуть ли родину насовсем, я, кроме всего прочего, представил себе, что мне нужно оторваться от своих друзей и коллег, своих учеников, своих верных читателей, даже своих неотступных недругов, – и не смог. Я весь – в этих связях, я опутан ими. У меня впечатление, что, несмотря на все препятствия здесь и благоприятную обстановку там, я бы не смог реализовать себя в полной мере там – так, как сумел здесь. Каждая моя книга вышла, предварительно пройдя через сеть дружеских связей – суждений, советов, поощрений, заинтересованности, предостережений, поправок, рекомендаций и, конечно, что для меня было важно, восторгов. Она плыла по ним от задумки через написание к выходу в свет и восприятию публикой. Мне кажется, – продолжает он, – человек как узел дружеских связей – очень русское явление». Это абсолютно точно.

«Как бы мне ни было трудно на родине (нести пророка в своем отечестве), – читаем мы в его книге, – как бы много ни значило признание за рубежом, гораздо важнее были те связи с друзьями и учениками, та вписанность в культуру, то понимание всех возможностей, которые даются только долгой жизнью в своей стране».

О тех же, кто не вписан в культуру, Клейн сказал так: «Они хотят жить в более комфортных условиях, в другой стране. Не пора



ли иначе поставить вопрос: другая страна нужна здесь». И это подводит нас к третьей важной точке соприкосновения с Достоевским – к поздней публицистике.

Обращал ли кто внимание на сходство клейновской колонки в «Троицком варианте» (эти очерки теперь собраны под одним переплетом в «Муках науки») с «Дневником писателя»? Оба взялись за это дело в поздние годы – Достоевскому было за 50, Клейну – за 80. А до этого оба прибегали к окольным способам выражения самых заветных мыслей – Достоевский вкладывал их в уста любимых героев, Клейн же (если не считать книги о перевернутом мире) не столько декларировал, сколько демонстрировал их трудом и жизнью.

Но вот наконец настает время (и появляется возможность), не прибегая к помощи литературных персонажей, археологических культур и прочих средств косвенной выразительности, обратиться к тем, кто ждет от тебя самых важных

слов о судьбе нашей страны и нашей культуры. «Другая страна нужна здесь»? Так что же нужно сделать, чтобы она стала другой? Чисто русский вопрос, вызывающий в сознании всю вереницу предшественников от Чернышевского до Солженицына.

Не будем ссылаться на различия в эпохах и аудиториях. Интернет-газету читают не все? Так ведь и крестьянское большинство пореформенной России нечасто листало столичные журналы с очерками Достоевского. Написанное никуда не исчезает, оно просачивается в почву, к нему будут обращаться следующие поколения и, как и нынешнее, будут находить в этом что-то важное. Ведь человек (пользуясь словами Клейна) – а особенно человек его масштаба – не только узел дружеских связей, но и средоточие идеологий, водоворот общественных страстей, выразитель мыслей и надежд сотен и тысяч людей. Можно его лишить университетской трибуны, а он все равно останется в гуще близких и дальних коллег, друзей, врагов, проблем, страстей...

Клейн не был бы русским мыслителем, если бы в его практических программах, как и у Достоевского, не присутствовали черты утопии. Например, в таком предложении по реформированию науки: «Если бы общество могло выделить ряд молодых ученых, проявивших энтузиазм и талант, и снабдить их крупными ассигнованиями на всю оставшуюся жизнь, предоставив возможность бесконтрольно распоряжаться этими средствами, некоторые средства, возможно, были бы потрачены впустую, но общим результатом был бы сильный прорыв в науке».

Именно это недавно попытались предложить физикам-эмигрантам, получившим нобелевскую за эксперименты с графеном. Реакция одного из них (правда, уже не молодого) – Андрея Гейма – была такой: «Зовут в Сколково? Хотят, чтоб вернулись? Ребята, вы там чего?! ...Вы что думаете, господа, отвалив мешок с деньгами, чего-то добьетесь?... На родину, конечно, тянет, но пока я из ума еще не выжил, чтоб возвращаться. Я слишком много растратил там своей жизни, борясь с ветряными мельницами. Я нормальный ученый, а не борец». Что ж, в известной мере это формула капитуляции – почетной, выгодной, но капитуляции.

Такова же была позиция другого нобелевского лауреата-эмигранта – академика Абрикосова. А вот позиция других нобелевских лауреатов, академиков Гинзбурга и Алфёрова, оставшихся тут – иная. Она совпадает с позицией Клейна. И с позицией Ахматовой: «Не с теми я, кто бросил землю / На растерзание врагам».

«Другая страна нужна здесь» – на меньшее Клейн не согласен. Капитуляция, пусть и почетная, не для него. И если настанут для нашей науки – и нашей культуры в целом – лучшие времена, он сможет сказать, что внес в это свой, и немалый, вклад. Лев Самойлович, дорогой, здоровья Вам и сил!